

Елена  
Гапова

ЛЮБОВЬ КАК РЕВОЛЮЦИЯ,  
ИЛИ «НЕСМОТЯ НА ГРАМШИ»  
ПОЛУТЫ БОДУНОВОЙ<sup>†</sup>

*Миллионами слов женщины писали книги, не говоря о  
дневниках и письмах, о том, сквозь что надо пройти,  
чтобы просто писать, и как много женщин не имеют  
даже этого. Мы писали о нашем письме и подавлении  
этого письма; мы писали о молчании и безумии, о нашей  
маргинальности и невидимости, об отрицании нас и о  
нашем отличии...  
Тереза де Лауретис<sup>‡</sup>*

*...Улица корчитя безъязыкая —  
ей нечем кричать и разговаривать.  
Владимир Маяковский  
«Облако в штанах»*

Эта статья посвящена истории и «смыслу» травмы или — в популярном представлении — истории и «смыслу» психического заболевания (или даже «сумасшествия») белорусской эсерки Полуты Бодуновой, расстрелянной в 1938 году, а также интерпретации или, скорее, умолчанию об этой травме в национальном дискурсе Беларуси. Вставшие

1 De Lauretis T. Feminist Studies // *Critical Studies: Issues, Terms and Context* / T. de Lauretis (ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1986. P. 5.

<sup>†</sup>Опубликовано по изданию: Елена Гапова. Любовь как революция, Или «Несмотря на Грамши» Полуты Бодуновой // *Травма:пункты* / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М., 2009. Сс. 840-863. Публикуется с согласия автора.

<sup>‡</sup>Хочу выразить благодарность Сергею Ушакину и Александру Першаю за комментарии, высказанные в процессе работы над текстом.

передо мной вопросы выглядят следующим образом: что «на самом деле» произошло с Бодуновой, во-первых, и почему этого «нельзя сказать» в той истории борьбы за белорусскую государственность, которая пишется сейчас, во-вторых?

Иначе говоря, почему пережитая П.Б. и очевидная всем, кто знаком с этой историей, травма препятствует включению в национальный пантеон политической деятельницы, чья подпись стоит под уставными грамотами первого независимого белорусского государства 1918 года, и почему это важно для понимания разворачивающегося сейчас процесса исторического письма? Фактологически эта статья опирается на работы исследовательницы из Гомельского университета Валентины Лебедевой: все сведения о жизни Полуты Бодуновой получены из ее публикаций, а также из бесед с ней. Первоначальным же толчком к осмыслению истории П.Б. послужила статья Терезы де Лауретис «Несмотря на Грамши, или Левая рука истории».<sup>2</sup> В ней предлагается феминистское прочтение истории психического заболевания русской жены Антонио Грамши, которое — при всех фактических различиях — кажется вызванным теми же причинами, что и болезнь Бодуновой, т.е. травмой, связанной с невозможностью женского субъекта добиться означивания в некоторых ипостасях, считаемых первостепенными.

### Револуция: история Полуты Бодуновой

Большинство моих знакомых — образованных, живущих в Беларуси людей — никогда не слышали о Полуте Бодуновой. До последнего времени она была известна только в кругу историков и литераторов (обычно избегающих говорить о ней), занимающихся национальным возрождением первой трети XX века, а также интеллектуалов, связанных с идеями национальной независимости. Очевидных причин этому две. Одна из них связана с той канонической версией белорусской истории, которая была монополизирована властью вплоть до последнего десятилетия XX века. Она представляла собой нарратив о совместном со старшим братом шестии к

2 De Lauretis T. Gramsci Notwithstanding, or, the Left Hand of History // De Lauretis T. *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction*. Bloomington: Indiana University Press, 1987. P. 84–94.

пролетарской революции под мудрым руководством, и какие-либо имена или события, которые могли эту версию поставить под сомнение, были из нее исключены (что верно и для других советских национальных историй, в том числе и российской). Полута Бодунова, являясь, как и ее соратники, также из этой версии исключенные, «буржуазной националисткой» (хотя партии, к которым она принадлежала или руководила, имели социалистическую ориентацию), таким образом, не могла попасть в советскую историю. Однако в последние пятнадцать лет все же произошло возвращение других не советских деятелей в «независимый» исторический дискурс (правительство Беларуси по-прежнему настаивает на просоветской версии истории): их имена включены в учебники, изданы их книги и книги о них. Но даже в этой компании П.Б. маргинальна. Таким образом, вторая причина — затушевывание П.Б. и в этой версии. Поэтому далее я изложу фактическую сторону жизни П.Б., опираясь на публикации и рассказы Валентины Лебедевой,<sup>3</sup> и одновременно попытаюсь реконструировать ее судьбу в «общесмысловом» контексте ее времени.

Полута (Полина) Бодунова родилась в 1885 году в мещанской семье в Гомеле, крупном городе Северо-Западного Края Российской империи, важном центре эсеровско-бундовской деятельности. Закончив училище и выдержав экзамен на звание домашней учительницы русского языка и географии, она почти до тридцати лет работала в сельских школах. В 1914 году П.Б. становится слушательницей Высших историко-литературных курсов в Петрограде, где в это время собирается круг сознательной белорусской интеллигенции, литераторов и деятелей национального возрождения (учебные заведения и «наука» в самом Крае запрещены или затруднены после восстания 1863 года). Попав в эту среду и в преддверии революции, П.Б. «вспоминает», что она белоруска: национальность, как любая идентичность, ситуативна и конструируема и «всплывает на поверхность» в определенных условиях. У П.Б. есть энергия и ораторский талант, вернее, появляются условия для их проявления. Когда она говорит, ее слушают. После Февральской революции слушатели курсов избирают ее делегаткой в Петросовет, а летом 1917 года она

<sup>3</sup> Лебедева В. Полута Бодунова: женщина в политике // *Женщины на краю Европы* / Е. Гапова (ред.). Минск: Пропилеи, 2003.

входит в руководство старейшей белорусской политической партии — Белорусской социалистической громады (БСГ). Бывшая учительница русского языка становится пропагандисткой «белорусского дела»: выступая на съездах фронтовиков в Петрограде, Москве и Минске, она разъясняет программу национального самоопределения:

После моих выступлений на съезде некоторые московские белорусы спрашивали у меня паспорт, чтобы убедиться, что я действительно православная, а не католичка, подосланная иезуитами, как они говорили. Для их ушей казалось диким, что Беларусь — это не Россия, что белорусы как нация имеют право на свободное, независимое существование.<sup>4</sup>

Риторика нового мира связана с распадом империй и выходом на сцену «поздних наций» Восточной Европы; национальное самоопределение провозглашают как Владимир Ленин, так и Вудро Вильсон. Начинается передел границ в тех краях, где их не было уже давно, а те, что были до завоеваний Екатерины (или до Австро-Венгрии), не устраивают ни одну новую элиту. Многим, прежде всего интеллигенции на «национальных окраинах», кажется в тот момент главной справедливостью разбудить массы народа (или солдатские массы) и объяснить им, кем они являются «на самом деле», как должны себя назвать, какое принять имя, а затем повести их в таком качестве к освобождению. Западные правительства после окончания Первой мировой войны будут пытаться провести в регионе «справедливые границы» в соответствии с расселением этнических общностей, а потому эти общности должны твердо знать, кто они такие. В терминологии П. Бурдые это называется конструированием классифицирующих оснований<sup>5</sup>: европейские державы «разрешат» создать свое государство тем, кто будет способен «доказать», что они на самом деле являются исторически сложившимися сообществами.

Чтобы войти в круг европейских наций, белорусы должны отстоять историю, язык и культуру. Роль агитаторов в этом деле огромна. П.Б. выступает от имени угнетенного

4 Цит. по: Лебедева В. Полута Бодунова... С. 307.

5 Бурдые П. Описывать и предписывать. Заметки об условиях возможности и границах политической действенности (1981) // *Логос*. 2003. № 4/5.

белорусского народа, чей язык не признан. Ее жизнь полна нового смысла. Она не провинциальная незамужняя учительница, а революционерка, политик, вовлеченная в общее дело, цель которого высока и благородна. Ей тридцать два года, и в этой новой жизни это не «бальзаковский возраст» последнего (по тем временам) женского цветения, а время деловой молодости революции; она свободна, образованна, и она — «новая женщина». Вопрос о том, насколько она «сама» перестраивает себя, выбирая как жить, а насколько — идет той колеей, которую формирует для людей ее среды, возраста и пола революционное время, категорически изменяя иерархии, а также структуру запретов и возможностей, бессмыслен. Не тургеневской же барышней становится, родившись «в России с умом и талантом», да еще на сломе эпох.

Она влюблена в это новое, храброе время, в революцию, в освобождение своего страдающего народа, и она — естественно — влюбляется: а разве могло быть по-другому? Ведь и Маяковский писал о революции как о любви: она началась с «Облака в штанах» — манифеста новой любви. Социальная революция всегда по новому формирует сексуальность: ее цель, и смысл, и способы ее «делать», потому что любовь включена в тот властный порядок, который революция призвана изменить. Ее любовь и революция, конечно же, вместе:

Мы встретились с ним на одном из белорусских съездов воинов западного фронта... Вот к столу, попросив слова у председателя, подошел молодой военный, судя по нашивкам, вольноопределяющийся. Он сделал какое-то короткое заявление, почти не занявшее времени. Я, утомленная беспрерывными каждодневными сообщениями... даже не смотрела на тех, кто говорит. А только умом выбирала главное из того, что говорил оратор. Когда начал говорить Томаш (тогда я еще не знала, что его так зовут, и еще более не знала, что это имя будет для меня таким дорогим в будущем), я нечаянно подняла глаза и глянула на него. Длинные каштановые волосы, баки, бледное лицо и резкой формы, сходящиеся над носом брови сразу делали его заметным среди других. Самое сильное впечатление сделали на меня его глаза. Почти неземная доброта, тихая грустная насмешка над суетой земной так и глядели из глубины не то карих, не то серых больших глаз его. Сразу нечто стукнуло мне в сердце:

о, какие глаза у этого человека. Какая должна быть святая и правдивая душа — вот кого можно полюбить до конца.<sup>6</sup>

Любовь, возникшая в контексте революции, по сути дела, равна ей. В момент встречи (любят упоминать историки) ей на несколько лет больше, чем Томашу Грību. Ну и что?

П.Б. принимает участие в подготовке Всебелорусского съезда в Минске, разрабатывая большую, как пишет Валентина Лебедева, для прифронтовой Беларуси проблему: помощь беженцам и инвалидам войны. Голодные дети, истлевшие портянки. По-белорусски это называется *галеча* — от слова *голый*. Она предлагает развернутую программу помощи и ставит вопрос о международной ответственности за нанесенный ущерб. Съезд провозглашает принципы независимой белорусской государственности, но разгоняется большевистским облисполкомом с применением военной силы: противостояние между большевистскими властями (по сути, властью Западного фронта) и белорусскими национальными организациями (Партией белорусских эсеров, БСДГ и другими) обостряется до предела. Будучи партиями социалистической ориентации, они, тем не менее, отвергали большевизм как мировую (т.е. «городскую»), а не национальную революцию.

Суть противостояния составляют сложные отношения национальных и социалистических движений. Большевики видят смысл своей борьбы в освобождении пролетариата: перед ними целый мир голодных и рабов, и их идеал — «без России, без Латвий жить единым человеческим общежитием», но со столицей в Москве. Национальные демократы считают главным субъектом исторического процесса не «всемирный» пролетариат, а национальное крестьянство. Образ, что нарисовал национальный гений Янка Купала в поэтическом манифесте 1905 года. «А кто там идет?»: «а кто там идет огромной такой громадой? Натруженные руки, ноги в лаптях? — белорусы; а что же несут они на своих плечах? — свою кривду; а чего же хочется им — голодным, слепым и глухим? — людьми зваться...» В новый мир свободных европейских наций, полагает интеллигенция, мы придем как народ со

---

6 Лебедева В. Полута Бодунова... С. 313.

своим языком, культурой и историей. В конечном же итоге, как говорил Ленин, ключевой вопрос каждой революции — это вопрос о власти. Чья будет власть, местная или «московская»?

Тем временем, после срыва мирных советско-германских переговоров, немецкие войска занимают территорию Беларуси, и в условиях оккупации в марте 1918 года исполком Всебелорусского съезда провозглашает Белорусскую Народную Республику (БНР), которая формально просуществовала менее года. Без нее, как полагают некоторые историки, вряд ли была бы возможна Белорусская Советская Социалистическая Республика, сформировавшая основы последующей государственности. Подпись П.Б. в числе других стоит под уставными грамотами республики. В составе правительства она становится министром по делам призрения, занимается беженцами, помощью детям и налаживанием национальной школы. Рада (совет) БНР обращается за помощью к немецким властям, так как Германия в тот период поддерживала независимость Украины и Прибалтики, видя в них «антимосковскую» силу. П.Б. и ее соратники квалифицируют это как предательство революции и белорусского народа, выходят из состава руководства и объединяются в Белорусскую партию социалистов-революционеров; под ее влияние попадают Крестьянский и Учительский союзы.

Осенью 1918 года немецкие войска под напором Красной армии начинают оставлять белорусскую территорию, и эсеры объявляют борьбу против двух оккупантов — Германии и Советской России. П.Б. и ее соратники остаются в занятом большевиками Минске, и сначала их арестовывают всего на сутки. Эсеры делают попытки искать внешнего политического союзника — таким какое-то время казался Пилсудский, однако, по мере захвата территории поляками и репрессивных действий против интеллигенции, тщетность этих надежд становится очевидной. П.Б. объявляет борьбу и против «польской эндеции, потопившей в крови права свободного белорусского народа», и осуществляет все руководство партией, когда поляки заключают Т. Гриба на семь месяцев в лагерь.

В феврале 1919 года польские оккупационные власти арестовывают П.Б. и помещают в одиночку, а через несколько

месяцев выпускают под надзор жандармерии. Соратники помогают ей перейти линию фронта и попасть в Смоленск, где обсуждается вопрос о государственном самоопределении: большевики выступают за БССР, эсеры же ведут подготовку к провозглашению Белорусской трудовой социалистической республики Всебелорусским трудовым конгрессом. Эсеры — единственная местная сила, опирающаяся на военные формирования и обладающая многотысячной поддержкой. Это серьезный аргумент в переговорах с большевиками. П.Б. отправляется в Москву и проводит переговоры с наркомом иностранных дел Г. Чичериным и наркомом по делам национальностей И. Сталиным. Ее миссия оценивается партией как успешная, и она едет в Ригу для дальнейших переговоров и кратковременной передышки (тело уже не выдерживает нагрузок), где и пишет несколько страниц «Воспоминаний о моей любви» (которые будут подробно рассмотрены ниже) — сама любовь уже «закончилась», и в душе темно и промозгло. Томаш Гриб увлекся известной красавицей Павлиной Меделкой. Она молода, участвовала в первых белорусских театральных постановках, и ее именем увлеченный Янка Купала назвал свою «Павлинку». На сохранившихся фотографиях это ослепительная брюнетка в мужском костюме и рубашке с галстуком.

Осенью 1920 года П.Б. возвращается в уже советский Минск (западные земли после Брестского мира отходят к Польше), надеясь участвовать в выборах в Советы и заниматься культурной работой, но в феврале 1921 года ЧК проводит акцию ликвидации БПСР. Арестованы 860 человек и документы, в которых говорится, что П.Б. возглавляла правое крыло партии, что через нее поддерживались контакты с российскими левыми эсерами и подпольными эсеровскими организациями на занятых поляках территориях. Ее направляют в Новинскую тюрьму в Москве, полгода не предъявляют обвинений и даже не проводят допросов, она объявляет две голодовки протеста, и в июле 1921 года Красный Крест извещает ВЧК о том, что П.Б. находится в критическом состоянии. После ходатайства на имя Ленина специальным постановлением правительства РСФСР ее освобождают.

Политическая деятельность в Белоруссии невозможна, легально уехать нельзя, а при попытке перехода польской



границы ее арестовывают, полгода держат под надзором полиции, а затем отпускают с требованием покинуть Польшу. Она направляется в Прагу, где при поддержке чешского правительства сформировался центр белорусской эмиграции (и где находится Т. Гриб — его брак с Меделкой распался), собираясь затем вместе с Вацлавом Ластовским представлять Беларусь на Конференции бывших покоренных народов в Женеве. Неожиданно против ее поездки категорически выступают соратники по партии вместе с Т. Грибом: якобы потому, что «социалистка не может участвовать в конгрессе буржуазной Лиги Наций». Ее пребывание в Праге также нежелательно: бывшие соратники, среди них Томаш, хотят отправить ее в США налаживать издательскую деятельность. Мир рухнул: существовать можно, но жить нельзя. Не простившись, П.Б. уезжает в Берлин и заболевает: нервный стресс и простуда. Через месяц возвращается в Прагу, надеясь посещать лекции в Карловом университете, но беспрерывно болеет, просит в случае смерти перевезти ее прах в Минск. Ее помещают в нервную клинику, по выходе из которой она выглядит абсолютно сломанным человеком. Кто-то из доброхотов пишет в Минск сестре П.Б. о ее состоянии: по пражским улицам ходит живой труп. В начале 1926 года через наркомат иностранных дел сестра добивается возвращения П.Б. на родину. Она нездорова — и физически, и «так». В работе ей, как бывшей эсерке, а также в пенсии по болезни отказывают. Она подрабатывает уроками, но больше живет за счет помощи сестры и брата.

В 1930 году были проведены первые крупные аресты среди белорусской интеллигенции, имевшей «незалежницкое» прошлое (к 1941-му она была уничтожена практически вся), и в 1932 году П.Б. делает попытку вырваться за границу, обратившись в Международную организацию помощи революционерам (МОПР) с просьбой о содействии в выезде из СССР. МОПР отвечает отказом, ведь П.Б. «не подвергается репрессиям со стороны капиталистов». С этого времени она живет в Гомеле у брата, подрабатывая частными уроками, но ведет себя «неадекватно»: открыто критикует советскую власть, даже в разговорах с малознакомыми людьми или в очередях. Она явно «не в себе». В сентябре 1937 года ее арестовывают, и 5 мая 1938-го Особое совещание НКВД

СССР выносит ей смертный приговор, который приводится в исполнение в ноябре. О том, что происходило с ней с мая по ноябрь, мы, по-видимому, никогда не узнаем. В любом случае, Полуте Бодуновой достался страшный жребий.

---

### Язык: история молчания

В 1998 году при поддержке различных фондов усилиями энтузиастов национального возрождения и белорусской диаспоры были изданы «Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі»<sup>7</sup>: собрание документов, связанных с провозглашением БНР, ее существованием, борьбой вокруг нее, судьбами ее деятелей. В первой книге первого тома на страницах 799–802 помещен документ за номером 2228: «Палута Бадунова. Успаміны аб маім каханні» («Воспоминания о моей любви»), затем указаны место написания — Кэмери (написано Кэмерн), местечко на Рижском взморье, и дата — 27–28.06.1920. После трехстраничного текста комментарий: «На этом заканчивается тетрадь, в которой написан этот текст. Продолжения не найдено».

Документы тома располагаются в хронологическом порядке, и номера с 2224 по 2227, непосредственно предшествующие комментарию на странице 799, представляют собой «Статистические данные о производстве зерна в белорусских губерниях Российской империи за 1913 год», затем следуют расписки в получении денег руководителями и сотрудниками аппарата БНР на издательские, почтовые и канцелярские нужды. Непосредственно за текстом следует «Записка Александра Вальковича (Рига) Вацлаву Ластовскому от 28.06.1920» о том, что через украинское консульство в Вильне получена справка о расстрелянных поляками белорусских гражданах (все по-белорусски, перевод мой. — Е.Г.).

Сотрудник Национального архива, рассматривающий, как и многие белорусские интеллектуалы, издание тома шагом на пути возвращения этой страницы истории в национальную память, отозвался о записках П.Б. с недоумением и сомнением в необходимости их публикации. В контексте нашего разговора это означало, что исторической ценности эти сведения не

---

<sup>7</sup> Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. Вільня; Нью-Ёрк; Мінск; Прага, 1998.

имеют (не добавляя новых данных о политических событиях или людях в тех ситуациях, которые «важны для истории»), посвящены личным отношениям мужчины и женщины и выставляют «это» на всеобщее обозрение, что, в общем, даже и неприлично. Я подумала, что в записках есть интимные подробности, возможно, откровенные. Другой архивист признался, что «никогда ничего подобного не читал», но объяснить, что же именно его поразило, не мог, добавив только, что написаны записки — с точки зрения словаря, стиля и пунктуации — ужасно.

«Не воспоминания (успаміны) мне хочется писать, а тяжкую безумную тоску мою описывать. Тоску по той великой, несбывшейся любви моей, что уже третий год печет, как огнем, сердце мое»<sup>8</sup> — открывается текст прямой мелодической цитатой из зачинального былинного плача. Следующие три страницы — в которых напрочь отсутствуют интимные или иные подробности — написаны безумно одиноким и раненым человеком; они о том, как болит душа, страдание невыносимо и только долг перед своим несчастным народом дает жизни какой-то смысл. Эта фраза, при помощи которой я рационально изложила суть «Воспоминаний...», находится в остром противоречии с тем, как они написаны, и в этом смысле «сути» их не передает: моей речи не хватает для того, чтобы передать ту, другую речь, где крик боли может остановиться, только трансформировавшись в партийный лозунг:

Надо жить, говорит разум. Надо жить, ибо ты нужна еще своему бедному страдающему народу. Разве не видишь слез его! Разве не слышишь его стонов? Живи для других, люби идею больше, чем себя. Брось тоску. Пусть она сгинет под напором светлого труда ради всех страдающих.

«Воспоминания...» содержат только одно (приведенное ранее) «мемуарное» фактологическое описание первой встречи на Съезде Западного фронта; остальное представляет собой текстуальный «окровавленный сердца лоскут»:

Этого топора жду я. Но не только жду так безропотно, так покорно, как эти когда-то зеленые веселые деревья, а сама ищу эту добрую заботливую руку человека,

8 Бадунова П. *Успаміны аб маім каханні. Кэмерн, 26–27.06.1920* // *Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі*. Т. 1. Кн. 1. С. 799.

который бы снес, спалил мою жизнь, уже начинающую быть тем, чем сделались эти деревья, — внутренним трупом.<sup>9</sup>

«Воспоминания...», как всякий документ частной жизни, являются свидетельством как некоторых событий, так и их культурного и смыслового контекста; в данном случае текст запечатлел попытку сказать «невыразимое», сказать то, что нельзя сказать, т.е. прорваться через «невозможность» говорить. Природа этой невозможности сложна. Она связана с (белорусским) языком, на котором пишет автор, с попыткой создания «языка любви», а также с феноменом «женского письма» («женской речи»).

Язык, на котором П.Б. написала свои «успаміны», действительно ужасен — если мерить его учебником белорусской грамматики и стилистики, т.е. современным и логоцентрическим принципом «правильного» как соответствующего установленной норме: «Боже! Какое счастье поговорить с ним про все, все. Как измучилась, истосковалась душа моя без него! А все ж таки видеть его вместе и радостно и страшно»<sup>10</sup>.

Несоответствие норме очевидно, но неоднозначно. Прежде всего, самой белорусской языковой нормы в современном понимании на тот момент не существует: «никто не знает», как следует писать и говорить, потому что отсутствуют институты (государство, система образования, академия в широком смысле), которые устанавливают норму и цензурят отклонения от нее. Имперскими элитами белорусский воспринимался как диалект низкой, ограниченной, крестьянской культуры — в соответствии со статусом его носителей. Зачин времен Великого княжества Литовского, когда на старобелорусском были написаны Статуты (своды светских законов), а также версия «Тристана и Изольды», не реализовался: ВКЛ не трансформировалось в государство Нового времени с белорусским языком в качестве «странообразующего», и сейчас это язык крестьян и наивных мыслителей. Хотя иногда к нему и обращаются создатели польского культурного канона, например Адам Мицкевич,

9 Бадунова П. *Успаміны аб маім каханні. Кэмерн*, 26–27.06.1920 // Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1. Кн. 1. С. 800.

10 Бадунова П. *Успаміны аб маім каханні*. С. 801.

высокое искусство, создаваемое на этих землях, признается принадлежностью других народов. Формирующаяся национальная элита — учителя, этнографы, языковеды («крестьянские демократы» в терминологии белорусского исследователя Адама Мальдиса) — являются создателями нормы; некоторые из них непосредственно занимаются ее выработкой, подготовкой учебников и организацией школ (за что впоследствии будут расстреляны). Стремясь разбудить народ при помощи литературы и искусства на родном языке, они апеллируют к крестьянству и оперируют «домодерными» категориями.

На этом языке крестьянских мыслителей П.Б. пытается описать те «недуги души»<sup>11</sup>, для артикуляции которых в европейской культуре возник в XVIII веке «роман чувств». Однако гетевские «Страдания юного Вертера», первый роман о любви, повествующий о чувствах в психологических и эстетических категориях Нового времени, не только не мог быть написан в то время по-белорусски, но еще не был на белорусский переведен. Словарного и понятийного аппарата для выражения недугов развитой, сложной, современной души не хватает в той недавно обретенной П.Б. культуре, которой она поклялась быть верна, так как нет образованного слоя, пользующегося этим языком. Но как учительница словесности она читала по-русски романы и стихи; используя имеющиеся в этом арсенале «ресурсы» (метафоры, образы, аллюзии), она пытается произнести их на крестьянском наречии, потому что история несчастной любви — единственный «готовый», признанный в культуре вариант организации ее опыта:

Утром я все убрала в моем светлом, чистеньком веселеньком покое. Мне все казалось — от-от отворятся двери и войдет он долгожданный друг мой. Уже три часа. Никого нет. Тоска вновь берет сердце мое. И снова я начинаю метаться в какой-то агонии. Дивно, какое крепкое сердце дал мне Бог! Третий год ни одного дня ни одной ночи не прошло без горьких дум, без тяжких стонов. Откуда силы? Откуда эта безмерная страшная жажда жизни (пунктуация оригинала сохранена.— Е.Г.).<sup>12</sup>

11 Kristeva J. *New Maladies of the Soul*. NY: Columbia University Press, 1995.

12 Бадунова П. *Успаміны аб маім каханні*. С. 801.

«Уши» русского литературного языка вылезают из текста «Воспоминаний...» (который в переводе получает отсутствующую нормативность и становится правильным) здесь и там: когда нет соответствующего белорусского слова, либо его нет для П.Б. — ведь по-белорусски она начала говорить недавно, — она искажает русское (это теряется при переводе). Если она и родилась внутри белорусского языка своего края (скорее всего, ее семья — мещане—по-белорусски не говорила, но говорило местное население), он был «выдавлен» из нее системой воспитания, образования и доступа к интеллектуальным ресурсам, поэтому тот язык, на котором она пытается говорить в «Воспоминаниях...», кажется не до конца ею освоенным. Дневник П.Б. написан интеллигенткой, которая в народовольческом порыве хождения «в народ» стремится сознательно опроститься, постоянно сбиваясь на культурную речь. В одних случаях она употребляет белорусское слово *туга* (однокоренное с русским «тужить»), в других — забывшись — русское *тоска*. В этом смысле текст не соответствует даже той норме языка, которая существовала на тот момент: белорусский для П.Б. «неродной», но и в минуты сильного душевного волнения она верна ему, как данной революции клятве.

Помимо языковой маргинальности, выражающейся в словаре, построении фраз (только «звучащих» как народные), общей стилистике и соскакивания на неправильные для белорусского языка (русские) падежные окончания, очевидно и еще нечто, выраженное «ужасной» пунктуацией (отсутствием знаков препинания), нарушенным синтаксисом, переключением повествования. Все вместе это напоминает то, что называют «истерическим» текстом: еще со времен З. Фрейда особый язык — либо вовсе его отсутствие, молчание, невозможность говорить — считаются признаками особого травматического состояния. Фрейд, описав «случай Доры» — пациентки, которая потеряла возможность артикулировать слова, — одним из первых сформулировал эту связь. По мнению психоаналитика, травма проявляет себя, в том числе, и в нарушении способности речевого выражения, в нарушении самой возможности рассказать; соответственно, ключ к излечению может лежать в терапии речью.

«Истерический текст», обнажив травмированность

или разбитость автора речи, указывает еще и на то, что этот «лишенный целостности» субъект исчерпал возможности выразить свой опыт при помощи языка или, скорее, при помощи существующего языка. П.Б не находит средств, чтобы означить прежде всего «язык чувства». Роллан Барт во «Фрагментах речи влюбленного» рассматривает «влюбленную» речь как истеричный дискурс, останавливающийся перед невозможностью «высказывания» любви<sup>13</sup>. С другой стороны, дискурсивная немота П.Б. проистекает из невозможности означить себя. Как у женщины у нее в определенном смысле нет речи вообще: «все женщины ‘страдают от истерии’ в попытке обрести свой собственный язык».<sup>14</sup> Записки П.Б. — это попытка преодолеть свое двойное (тройное?) безъязычие, сказать «невыразимое». Ее исковерканная речь есть свидетельство того, что она, следуя формуле Гайтри Спивак, «не может говорить». Без разъяснения этой формулы мы вряд ли можем расшифровать историю П.Б.

Статья «Могут ли угнетенные говорить?» (1988)<sup>15</sup>, ставшая классикой постколониальной теории, посвящена проблеме конституирования «колониального субъекта» («угнетенного») как Другого и уничтожению следа того Другого (т.е. некой «первичной» субъектности) в его / ее сознании. Иначе говоря, проблеме изъятия из сознания колониальных организмов («других») неколонизованного / колонизирующего «знания о себе». Г. Спивак использует понятие угнетенный (по-английски обозначенное как *subaltern*, т.е. низший по рангу, подчиненный в армии) в том смысле, которое ему придавал итальянский марксист Антонио Грамши: подразумевая всех тех, над кем осуществляется гегемония правящих классов. Группы угнетенных разнообразны, и, по мнению Грамши, их история не менее сложна и многообразна, чем история доминирующих классов. Однако только последняя принимается в качестве «официальной» версии событий и, таким образом, является

13 Идея «влюбленной речи» (Бодуновой) и ее бартовская трактовка как истерии принадлежит Александру Першаю.

14 Ularly G. From Revolution to Liberation. Transforming Hysterical Discourse into Analytic Discourse // *Language and Liberation. Feminism, Philosophy and Language*. Ch. Hendrics, K. Oliver (eds.). NY: State University of NY Press, 1999. P. 129.

15 Сокращенный русский перевод: Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // *Введение в гендерные исследования*. Ч. II: Хрестоматия / С.В. Жеребкин, ред. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. С. 649–670.

известной. У угнетенных в этом смысле «нет истории». Следуя лингвистическому повороту, Спивак привлекла внимание к тому, что у угнетенных нет и языка, на котором их собственная история могла бы быть рассказана.

Разработанное Грамши понятие «угнетенного» (т.е. «другого») было использовано группой британских «постколониальных» исследователей индийского субконтинента, стремившихся ввести в нее системное обсуждение тематики «подчиненности». Г. Спивак, критикуя их подход, заявила, что вопрос, который в данном случае должен быть поставлен, состоит в том, «могут ли угнетенные говорить» своим голосом? Обладают ли они «голосом» для выражения своего коллективного самосознания, если их «сущность» заключается в постоянном воспроизводстве своего отличия от господствующих элит и, таким образом, в базовой, конституирующей зависимости своего отличия-как-отклонения от нормы, заданной колонизатором? Насколько, в таком случае, можно говорить о независимой субъектности угнетенных, если проблема их автономии касается дискурсивных форм, доступных для ее — автономии — репрезентации?

Спивак проблематизирует категорию «угнетенных», обращаясь к конструкции гендерного субъекта. Для нее это необъятная проблема «сознания женщины как угнетенного», для которой «возможность самой коллективности исключается посредством манипуляции с инстанцией женщины»<sup>16</sup>, вследствие чего «угнетенный как женщина не может быть услышан или прочитан»<sup>17</sup>. В качестве примера-метафоры Г. Спивак приводит историю индийской девушки Бхуванесвари Бхадури, повесившейся в 1926 году в доме своего отца. Смерть (учитывая, что в момент смерти у погибшей были месячные) не могла быть связана с беременностью, следствием тайной связи, — а потому казалась необъяснимой: какой иной мотив возможен для самоубийства молодой женщины? Через десять лет после гибели раскрылось, что умершая была членом вооруженной группы, участвовавшей в борьбе за независимость Индии: в конечном итоге женщине «доверили» политические мотивы самоубийства. Это было бы невозможно,

16 Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? С. 662.

17 Там же. С. 667.



не сделай Бхуванесвари «физиологической инскрипции на своем теле», дождавшись начала месячных и, таким образом, предприняв невероятное усилие по смещению своей телесной заточенности в рамки общепринятых интерпретаций женского поведения.

Проблематичность саморепрезентации «угнетенных», вскрытая Спивак, дает возможность сосредоточиться на проблеме собственно языка (помня о текстовой форме воспоминаний П.Б.). Говоря «чисто технически», «угнетенные», находящиеся в фокусе постколониальной теории, действительно говорят на «других» языках, непонятных «белому» человеку. В каком-то смысле другие — это все те, кто говорит «не по-нашему». Чтобы быть понятыми, они должны «сменить код» — заговорить на языке, известном слушающему: на языке метрополии, колониальной администрации, имперской культуры, языке, который, якобы позволяя им «донести себя», в то же время являлся одним из инструментов их подавления. В отношении угнетенных или «молчащих» совершается «эпистемологическое насилие»: оно состоит в отстранении их от производства смысла, создания языка и порождения значений. Угнетенные «не могут говорить» в том смысле, что за них (кем бы они ни были) или от их имени всегда говорит кто-то другой. Их собственная попытка рассказать — т.е. создать — свою коллективную культурную идентичность в лучшем случае остается нерасслышанной или неузнанной, а в худшем — приводит к восстановлению (или укреплению посредством повторного проговаривания) того «великого нарратива», в рамках которого они обречены быть угнетенными. Власть над ними, таким образом, простирается за пределы собственно структуры эксплуатации и охватывает пространство социального во всех его проявлениях.

Женщина как угнетенный была, по словам Симоны де Бовуар, исторически если не рабом мужчины, то его вассалом, — здесь Бовуар апеллирует к понятию гегелевского «раба». Вечно «другая» (созданная через отличие от «нормы»), она «не может говорить». Коллективное «молчание» женщин вытекает из связи между полом, позицией в социальной иерархии и (не)возможностью (значимого) высказывания, так как язык как символический продукт несет в себе те значения, которые можно назвать патриархатными (связанными с

мужским доминированием). Они исходят из мужского опыта, который единственно и может быть высказан. Мужское доминирование воспроизводится в каждом речевом акте, в то время как «субъективный женский опыт противоречит логической и грамматической структуре нормального символического означивания».<sup>18</sup> Ведь язык, исторически сложившийся как отражение социальных отношений, есть инструмент подавления и оформления, т.е. отсечения всего ненужного и не вписывающегося в сложившиеся нормы и стандарты (языкового) поведения; есть то самое «глобальное означающее», которое определяет смыслы означаемого. Пытаясь сказать свою «правду», женщины, таким образом, вступают в конфронтацию со всей глобальной языковой структурой, осознавая на практике «свою отверженность от языка и от социальных уз»<sup>19</sup>, которые возможны лишь при помощи дискурса.

Если «угнетенная» все же заговорит, то каким языком будет она пользоваться? На каком языке можно рассказать о невозможности говорить? Вошедшие в употребление в последнее время термины «женский язык», «обретение голоса» и т.п. связаны с попытками публичного выражения самостоятельной перспективы в отношении себя и своего социального мира, с попытками представления своего собственного опыта вне форм и формулировок, предложенных теми, кто «властвует» над дискурсом<sup>20</sup>. Нахождение «своего голоса» (т.е. самопознание и артикуляция) — это трудный и даже болезненный процесс преодоления навязанной (и присвоенной) идентичности. Однако текст «на своем языке», способный, по ощущениям говорящей, наиболее точно передать то, что она стремится сказать, квалифицируется как «неправильный», как отклонение от (мужской) нормы, как неспособность «вписать себя» в уже сложившиеся каноны и традиции дискурсивности. Именно так текст «Воспоминаний...» П.Б. воспринимается историками.

У П.Б. нет языка, на котором она могла бы передать свою историю, отчаяние своего одиночества, и посредством

18 Ulary G. *From Revolution to Liberation*. P. 129.

19 Kristeva J. *New Maladies of the Soul*. P. 213.

20 Gal S. *Between speech and silence: The problematics of research on language and gender // Pragmatics*. Vol. 3. № 1. P. 2.

письма она пытается создать этот язык — неправильный, изломанный, полный маргинальных элементов. Она ищет словарь и синтаксис для выражения опыта, одновременно порожденного патриархатом и невозможного для выражения на его языке. Но если предположить, что П.Б. «не может говорить», о чем свидетельствует строй ее «неправильного» («истерического») текста, то что же именно пытается она сказать? В чем смысл ее невыразимого? Можем ли мы каким-то образом это узнать? Для этого, как и в случае Бхуванесвари, необходимо выйти за рамки собственно языка, который сам по себе не предоставляет необходимых нам значений.

---

### Про любовь: «недуги души»

В одном из своих эссе феминистский теоретик Тереза де Лауретис дает интерпретацию «молчания» и душевной болезни русской жены Антонио Грамши, которая может оказаться полезной при поиске ответа на поставленные вопросы<sup>21</sup>. Рассказанная Лауретис история развертывалась в то же самое время, и в центре ее также находились любовь и революция. Суть ее в следующем. Антонио Грамши, находясь в Советской России в 1922 году в качестве представителя Коммунистического интернационала, познакомился с двумя сестрами Шухт, дочерьми бывшего соратника Ленина, выходяца из буржуазной среды, жившего вместе с семьей в эмиграции в Италии десять предреволюционных лет. С младшей, Гулей, эмоциональной и женственной, у него начались любовные отношения, и в 1924 году у них родился сын, однако сам Грамши к этому времени вынужден был вернуться в Рим. С Гулей он виделся еще один раз, когда она, ребенок и ее сестра Евгения получили возможность провести с ним несколько месяцев. После того как сестры вернулись на родину (Гуля была беременна их вторым ребенком), Грамши был арестован и провел в тюрьме одиннадцать лет, вплоть до своей смерти. Все эти годы главной связью между ним и его русской семьей была третья сестра, Татьяна, жившая в Италии. Она поддерживала Грамши материально и психологически, следовала за ним из тюрьмы в тюрьму, связывалась с лидерами левого движения в попытке освободить его, передавала лекарства, необходимые

---

21 De Lauretis T. Gramsci Notwithstanding. C. 352.

вещи и письма от жены и детей (которые, в качестве единственного разрешенного тюремным начальством корреспондента заключенного Грамши, переписывала своей рукой), а после его смерти спасла ставшие знаменитыми «Тюремные тетради». По сути дела, Татьяна стала тем, чем обычно является оставшаяся на воле жена заключенного, и ей же досталась та малая «власть и слава», которую может обрести женщина, отдавшая себя служению. Письма Грамши Татьяне Шухт, в которых он подробно, по пунктам обсуждает с ней свою работу, напечатаны в русском издании под одной обложкой с его философскими текстами<sup>22</sup>.

Гуля и ее сестры, пишет де Лауретис, были воспитаны отцом в духе романтизма и гуманистических ценностей, ядро которых составляли долг по отношению к бедным и обездоленным, общение с природой, любовь к детям как воплощению добра и чистоты, привязанность к семье, которая считалась убежищем от бурь внешнего мира. Грамши стал для сестер центром эмоциональной вселенной, реализацией романтической революционной мечты и той патриархатной модели, которую они усвоили. В некотором смысле все трое «были за ним замужем»; в то же время они были «обручены с партией». Гуля осталась в Москве, воспитывала детей, пыталась участвовать в партийной работе. Ради партии она отказалась от любимой ею игры на скрипке — и писала письма мужу (которые Татьяна переписывала своей рукой и своим почерком). Евгения убеждала ее, что она должна оставаться в Советском Союзе, что партия в ней нуждается, что за границей ей с детьми было бы опасно и что она вообще слишком слаба и нуждается в защите. По сути дела, Евгения играла в этой «семье» мужскую роль, оберегая и ограничивая Гулю и исключив из ее жизни возможность человеческой близости с Грамши (и с кем бы то ни было).

Письма Гули к Антонио становились все более редкими и отчужденными; постепенно вместо нее начала писать Евгения, взявшая на себя воспитание детей, а также руководство всей жизнью Гули. Грамши из живого человека, которого она любила, превратился в далекого революционного героя и вождя: в письмах он рассуждал о том, можно ли любить трудовой народ, не пережив настоящей любви, писал о воспитании детей и о

22 См.: Грамши А. *Искусство и политика*: В 2 т. М., 1991.

том, что значит быть революционером. Антонио советовал ей закалять волю и заниматься физическими упражнениями, чтобы победить начинающуюся душевную болезнь, слабость, недопустимую для революционера.

Гуля же, по мере того как Евгения и Татьяна забирали у нее все значимые области жизни и человеческих отношений, тем самым еще более усиливая ее беспомощность и потерю себя, все более уходила в свое молчание. Для нее исчезла возможность какого-либо действия в рамках традиционных и социально приемлемых женских практик, которые она в свое время усвоила. Не в состоянии определить себя концептуально, Гуля вытесняется из участия в значимых интеллектуальных и эмоциональных обменах и вынуждена проживать свой бунт пассивно, внутри себя. Как пишет де Лауретис: «Это именно то, что обычно диагностируется у женщин как сумасшествие».<sup>23</sup> Через некоторое время Гулю помещают в психиатрическую лечебницу, где она и проводит оставшуюся жизнь в своем странном молчании. По сути дела, заключает Лауретис, те роли, что приняли на себя сестры Шухт, почти полностью исчерпывают выбор, который оставляют женщине западные культуры: верность, жертвенность, самоотречение и безумие...

Современники, а затем историки трактовали состояние и поведение П.Б. как «психическое заболевание» и даже «сумасшествие». Заболевание Гули позволяет увидеть в «сумасшествии» П.Б. нечто иное: «заболевание» П.Б. обозначило то «невыразимое», что сначала отразилось в упомянутом дневнике и достигло своей кульминации позже, когда П.Б. «объективно» заболевает, чтобы уже никогда не поправиться. Очевидно, в Праге она переживает травму:

Травма — физическая либо психическая — наносит такой ущерб нашей защитной оболочке, что справиться с ее последствиями при помощи обычных методов, к которым мы прибегаем при переживании боли или потери, оказывается невозможно. Ущерб настолько велик, что даже когда трагическое событие не является неожиданным, опыт его переживания невозможно предсказать.<sup>24</sup>

23 De Lauretis T. Gramsci Notwithstanding. С. 89.

24 См. статью Джулиет Митчелл в сборнике *Травма: пункты*.

Причиной травмы, которая окончательно прорывает уже ветхое защитное покрытие души, стал отказ в признании тех двух позиций, которые для П.Б. наиболее существенны: позиции женщины, состоящей в сложных психологических (т.е. «современных», легитимных вследствие модернизационной, антифеодальной революции) отношениях со значимым мужчиной, и позиции национального политика.<sup>25</sup> Она предана: отвергнуты ее значимые Я. По сути дела, ей отказано в праве на социальное действие; травма П.Б. — это травма непризнания окружающими ее автономии, которая существует только во взаимодействии, в признании ее другими. В то же время это травма революции и любви «новейшего времени», когда личное и политическое невозможно разделить, и психическое заболевание возникает «на перекрестке Великой истории и малой истории» живущего в ней человека.<sup>26</sup> Воображаемой реальностью революции был разрыв обыденного порядка, когда все казалось возможным, и травма — а за ней и «безумие» — наступила тогда, когда стала ясной необходимость возвращения в привычный порядок и подчинение его установлениям.

В результате травмы П.Б. «лишается речи», которую могли бы понять живущие в мире здравого смысла, т.е. речи последовательной, подчиненной логоцентрическому (маскулинному) принципу. Как и Гуля, П.Б. уходит в «молчание», в «не-речь», преодолеть которую доступными ей способами не сможет. Когда в очередях она ругает советскую власть, т.е. делает то, что «нормальный человек» делать не станет, ее язык, очевидно, становится выражением чувства, а не значения. Эта речь не делает говорящую (в том смысле, как человек «создается» языком, второй сигнальной системой) автономным, независимым субъектом «права и речи», а, наоборот, исключает ее из сообщества таковых. Безумие, в сущности, состоит в неспособности порождать значения,

---

<sup>25</sup> Возможно, ранее она пыталась продумать себя как женщину: созданный ею в 1918 году детский приют она назвала в честь недавно погибшей Элоизы Пашкевич, «Тетки» по псевдониму, поэтессы и деятельницы национального возрождения. Находясь в заключении в Польше, пыталась также писать пьесу о Тетке — возможно, в поисках модели новой, независимой и национальной женской субъектности.

<sup>26</sup> См. статью Франсуази Давуан и Жан-Макса Годийера в сборнике *Травма: пункты*.

т.е. символы, значимые для сообщества<sup>27</sup>. Протест против власти логического принципа лишь делает более видимым это исключение:

Кажется, существует непреодолимый прорыв между рациональной, репрезентативной, логической структурой языка (символической или мужской структурой) и экспрессивным, ситуационным... опытом человеческой субъектности (реальным или женским опытом)... результатом остается выбор или / или: либо субъект — особенно женский субъект — остается в подчинении у символического, либо субъект становится психотичным и истерическим...<sup>28</sup>

Травма невыразима обычным языком и с неизбежностью его ломает: непонятную речь П.Б. окружающие трактуют как признак сумасшествия в его тривиальном смысле, отрицая тем самым ее страдание: невысказанного, его как бы не было. Его и действительно не было — внутри принятой структуры языка. Не имея слов, чтобы обозначить происшедшее с ней, она не могла и интегрировать травму в свое сознание, осмыслить и понять травмирующее событие. Переживая это событие снова и снова, П.Б., как всякий травмированный человек, не находила слов для его постепенного изживания. Дело, собственно, даже не в «советской власти», или не только в ней: травма изменила для П.Б. траекторию бега времени, замкнув ее сокрушительный опыт в круге бесконечного повторения. Безумие «помещает субъекта за пределы пространства, в котором возможно осуществление власти, и означает его / ее окончательное удаление из поля осуществления действия».<sup>29</sup> Язык безумия, которым отныне «говорит» П.Б., — это язык без речи, это способ передачи значения вне языка. Но, не имея речи, нельзя сохранить свой опыт для социальной памяти, создаваемой в соответствии с потребностями великих нарративов об истории, истине, справедливости. Существование вне дискурса неизбежно ведет к забвению, сводит в небытие. Круг замыкается. «Телесный» опыт П.Б. не преодолевает — несмотря ни на какие революции — лингвистически определенных социальных отношений;

27 Caminero-Santagelo M. *The Madwoman Can't Speak. Or Why Insanity Is Not Subversive*. Ithaca: Cornell University Press, 1998. P. 11.

28 Urary G. *From Revolution to Liberation*. P. 130.

29 Caminero-Santagelo M. *The Madwoman Can't Speak*. P. 1–17.

не деконструирует кардинально отношений власти. Пол и сексуальность остаются формами конституирования речи<sup>30</sup>, и «любовь» — т.е. сексуальное, телесное — находится в самом центре этого «текстуального» клубка.

Заключение:

Об угнетенных, которые все еще не могут говорить

История П.Б. обретает особое значение при осмыслении нашего времени и встающих сейчас трудностей написания национальной истории. Как это ни парадоксально для независимого государства, в Беларуси по-прежнему происходит борьба между двумя ее версиями.<sup>31</sup> «Официальная» историография, хотя и ориентирована на белорусские, а не московские, как это было раньше, события, дает им почти советскую интерпретацию, относя «несогласных» к «националистам» либо вовсе не упоминая их. Противостоящая ей версия стремится представить историю последних полутора веков как бескомпромиссную борьбу народа, возглавляемого сознательной национальной интеллигенцией, за «свободу», т.е. за язык, культуру и создание национального государства.

В обоих случаях роль интеллектуалов в культурном и политическом движении состоит в том, чтобы конституировать производство истории в виде повествования о свободе.<sup>32</sup> В таких нарративах «гендерному субъекту» отводятся некоторые «оговоренные» роли. П.Б. же, очевидно, не поддается той мифологизации, которой обычно сопровождается введение в историографический обиход «верных дочерей народа» (слишком часто удобно оказывающихся женами или дочерьми деятелей национального возрождения), — ни в образе пламенной революционерки, ни в образе матери или невесты нации, ни даже в образе «жертвы кровавого режима». Об этом свидетельствует ее невключение (или неполное включение) в «новую» историю Беларуси, где уже нашли свое мифологизированное место и силой увезенная в Киев полоцкая княжна Рогнеда (X век), и просвещенная монахиня Ефросинья Полоц-

30 Marder E. Disarticulated Voices. Feminism and Philomela // *Language and Liberation* / Hendrics, Oliver (eds.). P. 166.

31 Подробно об этом см.: Lindner R. Besieged Past: National and Court Historians in Lukashenka's Belarus // *Nationalities Papers*. 1999. Vol. 27. № 4. P. 631–648

32 Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? С. 661.



кая (XII век), и меценатки из рода князей Радзивиллов (XVIII век), и поэтесса Тетка (начало XX века).

Написание истории, т.е. представление ее как того, что было, связано с поиском смысла в пережитых страданиях и является непосредственно политическим актом. «Владение прошлым» (в «терминологии» Оруэлла) означает контроль над нарративом, т.е. над тем, кто имеет право на голос в истории; чья правда признается правдой; чье страдание останется в памяти; чьи слова отражаются в хрониках; в конечном итоге над тем, кто является субъектом исторического процесса. Само же существование «двух версий», непрерывный поиск интерпретации, постоянно происходящее исключение одних фактов и версий и включение других является свидетельством того, что «нация» еще не оформила свое прошлое в канонические формы «великого исторического нарратива». Прошлое, по словам Хабермаса, в отношении которого нация согласилась и, следовательно, состоялась. Версии нации, которые конструируют и новые «патриотические» историки, и официальный дискурс, — это мужская фаланга, в которую женщины допускаются на определенных ролях для выполнения ряда ограниченных функций, служащих укреплению и легитимации воображаемого братства. «Это очень материальное письмо, очень мужское, а потому очень белорусское», — написал известный современный белорусский поэт Адам Глобус в рецензии на книгу другого поэта (Алеся Рязанова). Белорусское потому, что мужское. Полута Бодунова была женщиной.